

тивных общественных и нравственных идеалах предшествующей эпохи. Однако вряд ли можно говорить о том, что его размышления отражают метаморфозы, произошедшие в национальной картине мира. Скорее они находятся в русле тенденций, которые прослеживаются в европейской философии и художественной культуре первой половины XX века: многие направления в это время возникают как реакция на «массовизацию» культуры, повсеместную замену уникального шаблонным, а персонального – коллективным. Стремление противостоять окончательному растворению Я в Мы – один из главных мотивов философского творчества Бердяева, для которого выбор между конформизмом и неконформизмом был не моментом отвлеченного философствования, а вопросом смысла собственного существования.

¹ Бердяев Н. А. Духи русской революции // Лит. учеба. 1990. № 2. С. 134.

² Там же. С. 22.

ОБРАЗ РИМА У ГЕТЕ И БРОДСКОГО

А. В. Ерохин

*Институт социальных коммуникаций
Удмуртского государственного университета*

«Римские элегии» Гете и Бродского отличаются полифонической структурой времени-пространства. Настоящее время доминирует в теме Рима – Вечного города. Время Рима – «остановившееся мгновение», застывшее время, полдень империи. Время «Римских элегий» Бродского – август, у Гете это позднее лето и осень, время сбора урожая. Рим у Гете и Бродского – большой мир, укрывающий в себе малое, интимное человеческое бытие, отличающееся особой чувствительностью, хрупкостью и даже «ничтожностью» (у Бродского). Для Гете Рим – не только «вожделенный кров», но и источник вдохновения. Традиционное поэтическое обращение к богам или к музам с просьбой о вдохновении Гете заменяет обращением с аналогичной просьбой к Риму. Гете апеллирует к женскому началу в Риме, противопоставляя его «мужскому», имперскому Риму Цезарей. Однако обращение к Риму, открывающее гетевские элегии, двоякого рода: оно содержит

не только смиренную просьбу, но и повеление, уверенность в том, что магия поэтического слова сможет оживить камни, улицы и чертоги.

Личностное, частное, «человеческое» начало у Гете и Бродского отмечено динамикой. Личное в элегиях Гете и Бродского подается с некоторой долей отстранения: лирические герои поэтов фигурируют как *чужие*, «северяне» в Риме. Лирический герой Бродского то говорит о себе от первого лица, то упоминает о себе в третьем лице, отчужденно, как о ком-то или даже о чем-то постороннем. В десятой элегии перед нами предстает обезличенное, потерявшееся среди предметов отражение автора в зеркале: «С помощью мятой куртки и голубой рубахи / что-то еще отражается в зеркале гардероба». Но как раз эта отстраненность, отрешенность от себя сближает героя Бродского с Римом: «Для бездомного торса и праздных граблей / ничего нет ближе, чем вид развалин» (2-я элегия).

Лирический герой «Римских элегий» Гете – благосклонный, порой восторженный, но чаще сдержанный наблюдатель. Гете выступает еще и как ученик, с благодарностью воспринимающий уроки любви, искусства, творческого отношения к жизни. Гете изображает своеобразный процесс посвящения, который проходит его герой в Риме: от поверхностного «туристического» восприятия он движется к посвящению в Элевсинские мистерии, то есть к посвящению в последние тайны жизни и искусства. Вечное настоящее Рима видится поэтом как «должное», обязательное, и приобщение к этой позитивной вечности античного мира, через которое прошел сам автор и его герой, обобщается в некотором пластически осязаемом назидательном примере подлинного существования.

Праздничный, торжественно-интимный финал «Римских элегий» Бродского есть прежде всего утверждение темноты, полной света, то есть своеобразной мистики любви, выступающей как итог сложного пути самопознания: переживание высшего счастья – в то же время готовность к смерти. Эта финальная исполненность существования, как и у Гете, предвосхищена уже в первой элегии. Подобно Гете, Бродский подчеркивает особую важность итоговой метаморфозы зрения: это изменение взгляда, приращение «оптической мудрости» и есть главный итог впечатлений и переживаний его героя в Риме.

Между тем «классичность» Бродского иного рода, нежели у Гете. Гетевский Рим возрождает поэта к новой жизни, только в Риме он

начинает жить по-настоящему. Гетевская классика органична, она брызжет здоровьем и уверенностью. «Классическая почва» у Бродского помечена усталостью, ее телесность не лишена некоторой ущербности. Это касается как человека, так и города. В описаниях Рима у Бродского мало «плоти», от прежнего художественного и исторического великолепия он оставляет лишь костяк и остоу. В Риме Бродского мало воды: площади без фонтанов (1-я элегия), высохший графин (2-я элегия). Вода же, «наставница красноречья», предпочитает литься «из ржавых скважин» (6-я элегия). Ветхость, изношенность Вечного города подчеркивается Бродским также через «имперскую» топографию Рима: если поэт и упоминает конкретные географические реалии, связанные с этим городом, то это места, указывающие на бывшее имперское величие Рима. Не так у Гете. Рим у него обильно населен людьми, богами и мифологическими персонажами, тогда как Рим Бродского скорее пустынен.

Итак, если лирический герой Гете начинает новую жизнь в Риме, то у Бродского «Вечный город» – место подведения итогов. И эти итоги весьма далеки от горделивой традиции «нерукотворных памятников». При том, что «Римские элегии» явно написаны Бродским под знаком Горация (Гете здесь ближе неотерикам), у русского поэта преобладают интонации смирения. Отношение Бродского к поэтической традиции более проблематично, нежели у Гете. Если Гете отстукивает «мерный гекзаметра счет пальцами на позвонках» любимой, то Бродский может позволить себе лишь благодарность за «куриный хрящик» (двенадцатая элегия). Классика Бродского, на наш взгляд, слегка барочна, в ней заметно расхождение между идеей и вещью, мыслью и плотью, и метафоры поэта это «зияние» только усиливают. Русский язык Бродского более чем зрел, в нем много разрывов, контрастов, медлительность его ритма – это не величая поступь гетевского гекзаметра, а движение осторожное, напряженное, затрудненное. Если «Римские элегии» Гете с полным правом можно назвать классикой, то творение Бродского – это скорее классицизм, выросший на развалинах классического и отмеченный особой барочной любовью к руине.